

Тень каравеллы

Автор:

Владислав Крапивин

Тень каравеллы

Владислав Петрович Крапивин

Повести рассказы В.Крапивина объединяет морская тема.

Некоторые истории имеют сказочную основу, другие – реальную, но все их связывает увлечение юных героев морем и кораблями.

Владислав Крапивин

Тень Каравеллы

Моей матери —

первому моему читателю,

критику и другу.

Один раз, когда я был маленьким, мне очень повезло: у меня прохудились ботинки и пришлось сидеть дома. Не смейтесь. Если бы не этот случай, я не построил бы корабль.

Был март. Под нашими окнами сверкала синевой и солнцем лужа. В луже, как в сказке, ходили эскадры. Только паруса у них были бумажные: в мелкую клетку и косую линейку.

А мне было грустно. И чтобы прогнать плохое настроение, я пошел в кухню, отколол от полена кусок сосновой коры и начал строить свой кораблик. Первый.

Потом за свою жизнь я построил целый флот. Были в нем и сосновые лодочки размером с ладонь, и модели каравелл, и настоящие яхты, которые не прочь поспорить с крепким ветром. Одной из самых больших радостей я считаю тот миг, когда парус набирает ветер, кренится мачта, натягиваются шкоты, а за рулем вырастает на воде бурлящая струя.

Это так же радостно, как найти хорошие слова для новой книжки.

И сейчас, когда я с мальчишками снаряжаю эскадру, чтобы уйти в настоящий парусный поход, кое-кто из взрослых, серьезных людей с упреком говорит мне: «Ты, как маленький, все еще играешь в кораблики».

Ну и пусть. Эта повесть не для них. Они все равно не поверят, что, не будь у меня первого бумажного паруса, размером с половину открытки, я вообще бы не написал ни одной книжки.

А эта книжка про самое начало. Потому что все начинается в детстве: первые паруса, первые стихи и первые неудачи. Первая любовь и первый смелый поступок.

Иногда меня спрашивают: «Это ты про себя написал?» И очень трудно отвечать. Кое-что про себя, кое-что про таких мальчишек, каким был сам. Про мальчишек, росших в суровые военные годы и в первые годы после войны.

Может быть, кто-то узнает себя в этой книге, а другие могут сказать, что все было не так. Но тут не стоит спорить. Детство – это как сказка, которую каждый раз можно рассказывать по-новому. Главное в нем все равно всегда остается: радость открытия мира, радость ребячьей дружбы и ощущение свежести и синевы. Словно ранним утром ты вышел за калитку на улицу, на которой родился, на которой живут твои товарищи.

Я уверен, что каждому человеку хоть раз в жизни выпадало такое утро.

Часть первая

ТЕНЬ КАРАВЕЛЛЫ

Синее и белое

Мир, в котором жили мы, был устроен удобно и просто. В середине его стоял наш длинный двухквартирный дом, который назывался флигель. По сторонам, в разных концах заросшего двора, находились другие постройки: бревенчатый сарай с сеновалом, двухэтажный дом с каменным низом, скрипучая, кривая голубятня и кирпичный магазинчик, окруженный забором из неструганных горбылей.

Во флигеле жили мы: я, мама и сестра Татьяна, которая училась в техникуме. Кроме того, в соседней квартире, за стенкой, жили Анна Васильевна и ее сын Павлик.

Население двухэтажного дома состояло из множества людей, которые назывались одним словом – соседи. А те, кто жил за стенкой, соседями не назывались. Они были просто тетя Аня и Павлик.

Среди соседей встречались разные люди: хорошие, так себе и вредные. Хорошей считалась тетя Ира, которая держала корову и давала нам в долг молоко. Так себе была Таисия Тимофеевна, которая тоже держала корову, но в долг молока не давала. К вредным относился прежде всего Славка Дыркаб.

В сарае хранились дрова и жили две коровы.

В голубятне никто не жил. Давным-давно, до войны, там держал голубей старший брат Славки Дыркаба. Но потом он ушел на фронт, а его почтари или

сдохли с голода, или были съедены. Почерневшая голубятня скрипела на ветру и хлопала дверцами. Казалось, ее давно должны были растащить по досочкам на дрова. Но не растащили. И она стояла у забора над лопухами и репейниками, словно памятник веселому Славкиному брату, который когда-то жил в этом дворе...

Осталось сказать о магазинчике. В нем, конечно, жильцов не было, разве только крысы. Зато по утрам вдоль забора выстраивалась очередь. Стояли там главным образом старухи, инвалиды и мальчишки. Инвалиды в зеленых солдатских штанах и стоптанных чувяках мусолили самокрутки и все время спорили; старухи хмуро и осуждающе молчали – они здесь были главные. Мальчишки, заняв очередь, собирались в своем углу. Играли на щелчки в «номера» – у кого больше номер на деньгах, или усердно толкались – «давили сало», не забывая прижимать локти к нагрудным карманам, где лежали хлебные карточки. Они первые замечали пожилую сонную кобылу, которая тащила фанерную повозку с белой надписью: «Хлеб». Тогда раздавался тревожный крик: «Везут!» Очередь начинала беспокойно колыхаться.

Но мы тем летом редко стояли в очереди. Продавщица Катя, которая жила на квартире у Таисии Тимофеевны, постоянно говорила: «Не мучайтесь вы, ради бога, зря. Я своим знакомым всегда оставляю».

Видите, как все здорово было устроено.

Кроме того, у нашего крыльца рос громадный тополь. Самый высокий в нашем городе. Не думайте, что я прихвастнул. Все взрослые говорили, что такого большого дерева нет ни на одной улице.

Без этого тополя жизнь была бы гораздо хуже.

В июне тополь зацветал. Стояли дни, полные ласкового солнца. Небо, свободное от облаков, по утрам опрокидывало на землю такую синеву, что городок наш, казалось, притихал от изумления.

Осторожный ветер снимал с веток миллионы пушинок, и по всем окрестным дворам и улицам начинала кружить медленная тополиная метель. Теплая бесшумная метель под чистым небом. Дома, заборы, деревья становились зыбкими, словно нарисованными на синей марле. Казалось, что небо спустилось

к самой траве и можно полететь, как ласточка, если оттолкнуться сандалиями от упругих стеблей пастушьей сумки, от плоских листьев подорожника.

И я летал.

Встречный воздух парусом надувал рубашку. Мягкий, щекочущий пух забирался в рукава и под воротник, ласково и стремительно касался щек, губ, шеи. И радость жизни была легкая, как этот пух, чистая, как утреннее небо.

Правда, иногда эта радость стремительно уходила, уступая место режущей тревоге: на улице раздавался знакомый стук босоножек. Шла почтальонка Люба.

Все ее знали, маленькую, словно девочка, в синем беретике, в желтой гимнастерке, с сумкой, черной и громадной, как пианино.

Над улицей повисало молчание. Казалось, даже пух замирал в синем воздухе. Только Любины каблучки стучали по доскам тротуара. Стучали негромко и как-то виновато. Тишина становилась свинцовой. Иногда она взрывалась где-нибудь громким женским плачем, и тогда слово «похоронная» как бы нависало над улицей. Словно кто-то написал его в воздухе черными буквами...

И все-таки когда я думаю о том времени, то вспоминаю чистое небо июня и радостный полет среди тополиной пурги. Это не потому, что память отбрасывает все плохое. Неправда. Все помнится: и беспощадность военных зим, когда распухали от холода пальцы, и лепешки из картофельных очисток, и короткий лязг ножниц, вырезающих из хлебных карточек мелкие квадратики талонов. Но у детства смелый характер. Оно борется за радость. Оно эту радость находит, несмотря на голод и невзгоды.

Что ж, в конце концов все шло не так уж плохо. Война была далеко, наши били немцев так, что от тех только щепочки летели. Начиналось лето сорок четвертого года. Почтальонка Люба иногда оставляла в фанерном ящике у калитки бумажные треугольнички с почерком отца, а беду обносила стороной. А тополь цвел.

И видимо, в этом белом кружении под безоблачным небом лета прозвучал для меня впервые голос синих пространств. Голос, который делает из мальчишек моряков, поэтов и путешественников.

Не знаю, как это случилось. Я не думал тогда ни о парусах, ни о море. Но в один из таких дней захотелось мне сделать крылатый кораблик, чтобы летать в тополиной метели, держа его на ладони. Не самолет, а именно кораблик с крыльями. Вроде того корабля, который я видел в фильме «Золотой ключик». Этот фильм я смотрел два раза в кинотеатре «Сокол», где работала контролером Анна Васильевна, которая жила за стенкой.

Кораблик я решил сделать из глины, а по бокам хотел укрепить сухие стрекозиные крылья. Их я надеялся отыскать в траве. Мне тогда и в голову не пришло, что крылья эти, похожие на лепестки стеклянных ромашек, можно найти лишь в конце лета, когда стрекозы уже гибнут.

Зато, где взять глину, я знал точно. Было такое местечко позади дома, в сыром углу у забора.

Я вооружился щепкой, похожей на плоский штык, и через минуту докопался до влажного слоя. И тут меня отыскал Славка Дыркаб.

Фамилия у Славки была самая простая – Иванов, а Дыркабом его звали ребята. Прозвище это казалось непонятным, но подходящим.

Пятиклассник Славка был большой, круглоголовый и безнадежно рыжий. Если он в солнечный день сидел у окна, от стриженной под машинку головы, как от начищенного самовара, по углам разлетались желтые отблески. Круглые веснушки на Славкином лице сияли, будто новые копейки. И глаза у него были рыжие, кошачьи. Хитрые и непонятные глаза.

Я знал, что от Славки бывают неприятности, а хороших вещей не бывает. Поэтому смотрел на него с опаской, и голова моя сама собой втягивалась в плечи.

Однако Дыркаб не торопился устраивать неприятность. Улыбнулся, лениво сощурился и сказал:

– Значит, лепить собираешься...

Улизнуть было нельзя. Пришлось ответить:

– Ага... Лепить.

– А чего?

– Не знаю еще, – осторожно сказал я. Раскрывать свои планы рыжему злодею я не собирался...

Дыркнаб вздохнул и печально заморгал. Я насторожился еще больше.

– Я, когда маленький был, тоже любил из глины лепить, – неожиданно признался Славка. В желтых глазах его появилась задумчивость.

Он присел рядом. Это было кстати, а то у меня уже шея одеревенела: попробуй-ка, сидя на корточках, смотреть на человека, если он стоит за спиной.

Славка потыкал пальцем глиняный ком и сказал все так же печально и доверительно:

– Я и сейчас лепить люблю. Времени только нет. Мать как увидит меня – сразу: «А ну, марш в очередь за хлебом!» Или: «Марш за керосином!» Или еще чего-нибудь. Покамест в очереди торчишь, вечер подходит, надо за Манькой в садик ковылять. Потом мамка на ночную смену уходит, а я опять же с Манькой... У тебя-то житуха спокойнее, ты у матери младший.

Этим неожиданно серьезным разговором Дыркнаб рассеял мою недоверчивость. Подумать только: он искал у меня сочувствия!

Я старательно вздохнул:

– Трудно тебе...

– Да... А лепить я больше всего корабли люблю. Когда-то хорошо умел. Хочешь, сделаю кораблик?

Разве можно было отказаться?!

– Только здесь неинтересно, – подумав, решил Славка. – Испытывать негде. Давай у вас на кухне. Сразу слепим и сразу в бочке испробуем.

– Знаешь что, Славка, – сказал я, – лучше не надо. Глина же не деревянная. Она бульк – и на дно.

Славка оскорбленно выпрямился:

– Я дурак, да?

– Не... – сказал я опасливо.

– Нет, ты скажи. Дурак?

Я растерянно моргал. Признать Славку дураком было невозможно. Однако, что глина тонет, я знал точно.

– Глина тяжелая, – пробормотал я, не глядя на Дыркаба.

– А железо? – спросил он. – Железо еще тяжелей. А из чего делают пароходы? Из железа. А пароходы тонут?

Пароходы не тонут. Их для того и делают, чтобы они не тонули, а плавали. И возражать тут было смешно.

– Ну вот видишь, – снисходительно заметил Дыркаб. – Главное, знать способ. Как сделать.

Мы пришли на кухню. Славка раскатал на столе глиняную колбасу с заостренными концами, приплюснул ее и налепил сверху плямбу.

– Подводная лодка, – объяснил он. – Похожа?

Я сказал, что похожа, но про себя подумал, что Дыркаб врет, не лепил он корабли.

– Бери теперь и пускай ее в воду, – предложил Славка. – Не бойся.

Но я боязливо заспорил:

– Да... а вода чистая. А глина грязная...

– Глина? – изумился Славка. – Грязная? Из нее посуду делают. Кринки разные да чашки. В ней ни одного микроба нет. Да не бойся ты.

Я нехотя снял с бочки дощатую крышку, тяжелую, как щит Ильи Муромца. Бочка словно вздохнула. Запахло сырым деревом и дождем.

– Ну, давай, давай, – торопил Славка.

Я осторожно опустил «подводку» к воде, жалобно глянул на Славку... и разжал пальцы.

Лодка булькнула и ушла на глубину. Разошлись круги. Я увидел в черном зеркале воды свое растерянное лицо. И сказал шепотом:

– Славка, не плавает.

– Ты что? Как – не плавает? – торопливо заговорил Славка. – Она же подводная, под водой и плавает. Поплавет и поднимется. Ты подожди. Ну, я пойду, а то мать ругаться будет.

Хлопнула дверь. Я остался у бочки, проклиная Дыркнаба. Слезы падали в воду, и наполовину пустая бочка тихонько звенела.

Слезы беде не подмога. А беда была не маленькая. Воду носили от водокачки за четыре квартала. Дело это было хлопотное и долгое: у водокачки всегда стояла очередь. Я испортил двухдневный запас воды и ничего хорошего не ждал от жизни.

Я засучил до плеча рукав, лег животом на край бочки и попытался выловить подводную лодку. Где там! Разве дотянешься до дна... Тогда я принес кочергу и долго бултыхал в бочке, стараясь зацепить потонувшее глиняное судно.

За этим печальным занятием застал меня Павлик.

Он незаметно возник на пороге, и я вздрогнул, когда услышал вопрос:

- Ты что? Клад ищешь на дне морском? Или похлебку варишь?

Вопрос был задан с легким удивлением, но и с ехидством тоже. Павлик вообще никогда не разговаривал со мной по-обыкновенному. Если сердитый был, ворчал и советовал «убираться с горизонта». Если находился в хорошем настроении, все время насмешничал. Я привык. Другого я и не ждал. Ему уже стукнуло одиннадцать, а мне и семи не было.

- С чем похлебочка? - продолжал он ядовитый допрос. - Попробовать дашь?

- Лодка утонула, - сказал я отрывисто, чтобы не разреветься.

Тогда он удивился по-настоящему:

- Что за лодка такая?

- Дыркнаб подводную лодку сделал. А она...

Павлик хмыкнул. Не было в нем сочувствия.

- Балда, - сказал он. Было совершенно ясно, что он имеет в виду меня, а не Дыркнаба.

Худой, уже загоревший, с отросшей до бровей челкой, он стоял передо мной, пружинисто покачиваясь, и, наверно, размышлял: спасти меня или оставить на съедение злой судьбе? В светло-коричневых Пашкиных глазах блестели хитрые, острые, как иголки, точки.

- Эх ты, капитан Немо, - вздохнул он наконец (так я впервые услышал это имя).

Не снимая выцветшей испанки, он бесстрашно ухнул в гудящую пасть бочки и через несколько секунд выбрался на свет, держа на ладони раскисшее чудо

подводного флота. Со слипшейся кисточки испанки часто падали капли, чиркали по голубой майке, оставляя на ней темные полосы.

– Забирай, – насмешливо сказал Павлик.

Я послушно подставил ладони под глиняное тесто.

Павлик поднатужился и водрузил на место крышку:

– Все.

– А как сейчас... – начал я, с опаской глядя на бочку. – Вода ведь грязная теперь...

– Пф! – Он презрительно оттопырил губы. – Помереть боишься? От гнилой картошки не померли, а от глины и совсем не помрем! Если хочешь знать, в Африке есть такой народ, который специально глину ест, когда больше нечего.

– Правда? – живо откликнулся я, потому что это имело практический интерес.

– Говорят... Да ну ее, глину. Картошка лучше, даже гнилая.

– А если узнают про лодку? – опять забеспокоился я.

– Ха! Как узнают? Может, ты болтать будешь? Может, я буду?

Так связала нас маленькая тайна.

Увы, ниточка эта оказалась совсем непрочной. Через пять минут я услышал, как Павлик вместе с Дыркнабом хохочет над моей глупостью.

Грустно мне стало, но я не обиделся. Как я мог обижаться на Павлика? Павлик имел право смеяться. Он был не просто сильнее и старше. Он был человек из другого мира. Мир этот, большой и шумный, включал в себя многие улицы, стадион, реку, где можно было купаться и сколько хочешь смотреть на пароходы. Были в этом мире и школа, и целая толпа друзей, у одного из которых

даже имелся велосипед. Было и учебное стрельбище, где смелые люди могли найти пустые гильзы, а иногда и целые патроны. Были крыши, с которых запускали трескучих змеев с мочальными хвостами.

А я? Кто был я? Семилетний заморыш, не нюхавший школы, не ходивший в одиночку даже по ближним улицам. Я рос окруженный дощатым забором нашего двора. И приятелей у меня не было, если не считать драчливой Томки из большого дома и ее пятилетнего братца Тольки – нытика и попрошайки.

Конечно, двор был большущий, а играть я умел и один, поэтому до поры до времени не чувствовал тесноты и грусти. Но вот, забыв про меня, умчался по своим делам Павлик, и я понял, что мир мой мал, а я одинок. От тоски я отлупил Томку, издали запустил камнем в предателя Славку и вдобавок нарисовал на заборе его портрет и подписал:

Дыркнаб – драк

Букву «у» я пропустил только из-за торопливости, потому что вообще-то писал и читал тогда уже прилично. Научился, когда было пять лет.

Дыркнаб целый час ходил у меня под окнами, громко рассказывая, что он сделает со мной, когда поймает...

А Павлик, хотя и смеялся надо мной, про подводную лодку никому не сказал. И тонкая ниточка, видимо, не совсем порвалась. В конце концов, он именно мне, а не кому-то из друзей оставил на хранение учебную гранату, когда на месяц уехал в лагерь.

А потом был август и тот вечер, когда мы почувствовали, что нас тревожит одно и то же ожидание. Чувство, похожее на близость приключения.

Это было как первая капля нашей дружбы. Вернее, сначала и не дружбы, а просто симпатии, которая появляется, когда два человека хорошо понимают друг друга. После этой капли был еще долгий перерыв. Как в том дожде, о котором я сейчас вспомнил.

Капля упала с потемневшего неба на крыльцо, разлетелась на пылевые брызги и оставила на серой доске темный след. Он был похож на разбившуюся звезду. Пока я разглядывал этот лучистый след, вторая капля щелкнула по моей сандалиии, нырнула в одну из дырочек, пробитых в коричневой коже, и холодной ящеркой скользнула между пальцами.

– Владик, иди домой, гроза начинается! – крикнула мама из кухни.

Я не пошел. Мне хотелось увидеть падение новых капель. Я любил это волшебное зрелище – стремительное снижение маленьких стеклянных шариков. Но капель больше не было. Туча молчала. Она уже перевалила середину неба и развернула над всей землей темно-синий грозовой занавес.

Было очень тихо. Иногда вздрагивали и начинали хлопать друг о друга листья тополя, но тут же испуганно замирали.

Над заборами, над низкими крышами я видел высокую башню со шпилем. Я знал, что это колокольня старой церкви, в которой помещалась тогда городская библиотека. Знать-то знал, но что с того? Я даже близко от этой библиотеки не был – не приходилось. Она всегда была для меня просто башней, видимой издали. А то, что видишь только издали, всегда кажется немножко таинственным.

Мне нравилась эта башня. А в тот грозовой вечер нравилась особенно. Она была очень белая. Такая плотная и свежая белизна бывает у кусков мела, еще ни разу не взятых в руки. Этот белый цвет на грозовой синеве почему-то радовал и успокаивал меня.

Вокруг башни, словно рой бабочек вокруг абажура, носилась птичья стая. Птицы тоже были белые. И видимо, они не боялись грозы, хотя были от нее очень близко.

Коротко рванул ветер. Тополь, уже не стесняясь, захлопал зелеными ладонями. Сразу запахло теплой пылью, травой и сухой ржавчиной железных крыш.

Взвизгнула калитка, и во двор влетел Павлик. Он лихо затормозил перед крыльцом и выпалил:

– Ух и отоварит сейчас дождичком! Мы с Вовкой самолет по нитке пускали и вдруг как поглядим, как увидим! Какая туча! Ага? – Но вдруг мысли его скакнули в другую сторону: – Эй, Владька! А где моя учебная граната, которую я тебе оставил, когда в лагерь поехал? Я с Вовкой на самолет поменяюсь. Где? – Он наклонил набок голову и подозрительно смотрел на меня из-под выгоревшей челки. Жидкая кисточка испанки качалась над левой бровью.

Мне по многим причинам не хотелось касаться скользкого вопроса о гранате. Я отвел глаза и снова стал смотреть, как кружится у башни голубиная стая.

– Замылить хочешь? – в упор спросил Павлик. – Чего молчишь?

– Я на башню смотрю. И на птиц.

Павлик удивился и притих. Тоже стал смотреть, как кружат белые птицы. Не знаю, что он почувствовал. Но стоял и смотрел он долго. Тускло-розовая горбатая молния бесшумно сгорела выше башни и птиц. Это было увлекательно и страшновато.

Павлик громким шепотом сказал:

– Как на море. Будто там маяк и чайки... – Шепот его звучал тревожно. – Будто скоро шторм.

Плотная синева громадных грозových пространств со всех сторон окружила притихшую землю. Дома, казалось, хотят спрятаться под крыши, как черепахи под панцирь. Только башня, высокая и светлая, бесстрашно пронзала тревожную синеву. Она была как парус, как лебедь. Как белый маяк на краю беспокойного океана.

– Как на море, – отчетливо повторил Павлик.

Я знал, что он родился и вырос здесь, в этом доме, и никогда не был у моря. Но поверил ему сразу и накрепко.

С той поры эти два цвета – синий и белый – связаны у меня с мыслями о море. Белое и синее – значит чайки и паруса в морской дали, волны прибоя, тельняшки

и матросские воротники, незнакомые города над заливами, флаги отхода на мачтах многоэтажных кораблей. Бело-синими были обложки журналов «Вокруг света» и контурные школьные карты, так похожие на морские...

Конечно, это пришло постепенно. А в тот вечер, когда туча стала уползать и приоткрыла яркую щель заката, я забыл о синем шторме и белых птицах. На время.

Потом наступил сентябрь, и я пошел в первый класс, а Павлик в четвертый. Ближние улицы перестали казаться мне таинственной страной. Большой овраг, который раньше был страшным и запретным, стал местом веселых игр. Когда выпал снег, я одним из первых проборозил там санками крутой склон.

Жить стало интереснее, но гораздо труднее. Школа оказалась совсем не праздником. Читал-то я хорошо, но с первых дней не ладилось у меня с почерком. Буквы меня не слушались. Они разбредались с линеек кто куда, валились набок, принимали самые уродливые формы. Крупнокалиберные кляксы сыпались на тетрадные страницы автоматными очередями. А кроме того, вставать в семь утра и по морозу топтать пять кварталов до школы – какая же это радость! Да еще домашние задания! Конечно, – снежный овраг, где шумно и весело, – это хорошо, но все-таки я жалел о прошлых временах. Наступившая зима казалась мне безрадостной и жестокой. Зимние каникулы с крошечной елочкой в углу на сундуке промелькнули, как случайный солнечный зайчик.

С ребятами в классе я сходилась очень трудно. Ленинградец Юрик Давыдов, с которым я подружился, неожиданно уехал. До весенних каникул было далеко-далеко, а других радостей я не ждал.

Так было до того январского вечера, с которого я хотел сперва начать эту повесть. Но, вспоминая все по порядку, я понял, что началась она раньше. Не этим зимним вечером, а в синие летние дни впервые задела крылом Павлика и меня Тень Каравеллы.

Визит Билли Бонса

Ветер за окнами был пронзительный и лютый. Он басовито выл в проводах и тополиных ветках, но иногда срывался и начинал верещать, как прижатая в ловушке крыса. Я знал, что он лижет сугробы и взметает над ними языки летучего снега. При ледяном свете луны эти языки похожи на бледное прозрачное пламя.

Я любил смотреть на эти прозрачные факелы. Окна закрывались ставнями, но у одного ставня отвалилась нижняя половинка и оставила свободным оконце размером с тетрадку. По углам оно было затянуто узорчатым льдом. Я прижимался носом к стеклу и смотрел, как полыхают и дымятся холодом сугробы, как летят по снегу тени. Луны видно не было, но я знал, что она, не уставая, катится навстречу стремительным облакам.

Однако мама и Татьяна быстро прогоняли меня: от окна дуло. А если я был один, то и сам не решался подходить к окошку. Неизвестно откуда появлялся дурацкий страх: вдруг с улицы навстречу мне поднимется и прилипнет к окну плоская белая рожа со страшными глазами. От одной этой мысли делалось холодно в животе и хотелось, чтобы окон вообще не было.

Конечно, когда приходили взрослые, мысль о белой роже начинала казаться невероятной чушью.

Но в этот вечер взрослых дома не было. Вообще никого не было, кроме меня.

Натянув пальтишко, нахлобучив шапку, я сидел у стола и рисовал. Вернее, не сидел, а стоял коленками на стуле, навалившись грудью на край стола. Острая кромка сиденья резала колени, стол больно давил на ребра, но я не старался устроиться удобнее. Зачем? Все равно все было плохо.

Такие скверные вечера я называл унылым словом «утык».

Утык – это если все несчастья утыкаются в одного человека, в меня.

Нынешний утык начался еще днем: я получил очередную двойку по письму. Чтобы отомстить Антонине Петровне, я дома не стал делать задание по арифметике. Однако сейчас меня грызла мысль, что от такой мести Антонина Петровна пострадает меньше, чем я сам. Впрочем, не очень сильно грызла. Гораздо хуже было то, что я остался один. У мамы или собрание, или

внеочередное дежурство в редакции. У Татьяны тоже какое-то дело в техникуме, она вообще часто задерживается.

Мама, наверно, думает, что Татьяна дома, истопила печку, сварила на ужин овсяный кисель (я глотнул слюну). А Татьяна думает, видимо, что все это сделала мама. «А в крайнем случае, – думают обе про меня, – посидит у Павлика, пока мы не придем».

Но беда в том, что и Павлика нет. Из школы он пошел, наверно, на работу к матери, сделал там уроки и теперь в уютной кинобудке четвертый раз смотрит фильм «Два бойца».

Я с горькой завистью подумал, как тепло и интересно там, у больших трескучих аппаратов.

В доме было до чертиков холодно. Видимо, Татьяна днем не успела истопить печку. Холодными были стены, печная плита, стол, покрытый голубой клеенкой. Даже карандаш, когда я зажал его в пальцах, показался ледяным, как сосулька.

Это был мой любимый заслуженный карандаш. Военный. С одного конца черный, с другого – оранжевый. Весной мне подарил его знакомый офицер, который жил тогда у нас на квартире. Этим карандашом очень удобно было рисовать на полях газет горящие самолеты и танки фашистов: черное железо с крестами и оранжевое пламя. Но сейчас я рисовал без всякой радости. Просто так. В озябших пальцах толкалась привычная тупая боль. Она называлась «ревматизм».

Взгромоздившись валенками на стол, я распутал на электрическом шнуре узел и опустил к самой клеенке лампочку. Где-то мотался на ветру провисший провод, и лампочка тревожно мигала. Она была желтая, неяркая. Пар от моего дыхания обволакивал ее быстро исчезающими облачками.

Чтобы отогреть пальцы, я обнял лампочку ладонями, но тут же по стенам взлетели громадные тени, а в заиндевелом углу у окошка начала шевелиться мохнатая темнота. Ходики на стене застучали отчетливо и часто, словно предупреждая об опасности.

Я убрал руки и сердито всхлипнул. Утык был полный и глубокий. Еще и есть хотелось сильней обычного. Конечно, я не помышлял о макаронах, оставленных маме и Татьяне, но если бы топилась печка, я нарезал бы тонких картофельных ломтиков и поджарил бы их на плите. С солью.

Я опять проглотил слюну и с ненавистью взглянул на плиту. Она была холодная, как Северный полюс.

У печной дверцы лежало несколько сосновых поленьев. Вверху, на кирпичном уступе дымохода, хранились спички-гребешки в синей бумажной обертке и коричневая дощечка-чиркалка. Но что с того? Разжигать печку сам я не мог. Это было запрещено раз и навсегда. Нарушить этот железный запрет было страшнее, чем получить сразу пятьдесят двоек или съесть одному хлебный паек всей семьи.

Считалось, что если я возьмусь за растопку, то обязательно сожгу дом, себя и полгорода. Кроме того, в печке могло что-нибудь взорваться. Ведь взорвались же у Павлика учебные патроны (ох и звону было!).

«Однако, – подумал я, – взорвались у Пашки, а не у меня. А к печке не пускают меня, а не Пашку. Его-то пускают: пожалуйста, топи сколько хочешь...» Эта мысль была первой искрой бунта.

Бунт был молчаливый и стремительный. «Все равно!» – отчаянно подумал я, прыгая со стула.

В самом деле, все равно когда-то должно это было кончиться! Не мог же я без конца терпеть мучения оттого, что взрослых терзают глупые страхи! Так и скажу им! А сейчас возьму спички и...

Дров было мало. Но тащиться за ними в темный сарай через двор я, конечно, не собирался. Семь бед – один ответ! Я решил сжечь запасы бумаги, которые шли на растопку.

Тумбочка письменного стола была заполнена бумажным хламом: старыми учебниками и тетрадями сестры, довоенными журналами отца, пачками газетных вырезок, какими-то неинтересными книгами. Мама с Таней иногда жгли это добро, но очень осторожно. Они все боялись, что там может оказаться

что-то нужное. А я не боялся.

Я ударил валенком по тумбочке, чтобы заставить попрятаться живших там мышей, и дернул дверцу. С шелестом выползли к моим ногам несколько скучных журналов, связка газет и учебник зоологии с зубастым ящером на обложке. Я нагнулся, чтобы подобрать их.

И тогда, словно дождавшись нужного момента, прямо в ладони мне скользнула еще одна книжка.

Она была разломанная, без переплета. На первом листе я увидел два крупных слова: «Старый пират». А ниже, с середины страницы, шли слова, рассказывающие о старом морском волке, появившемся неизвестно откуда в приморской таверне.

Это было необычно, не встречалось раньше. Короткое воспоминание о белом маяке среди синей грозы толкнуло меня, как легкая тревога. С книжкой в руке я шагнул ближе к лампочке...

Безотрадный вечер, называемый словом «утык», растаял, провалился, исчез. Обладатели белых рож могли открыть все ставни, слоняться под окнами целыми взводами и заклеивать жуткими лицами все стекла – я бы их не заметил. Темные чудовища в углах могли играть в чехарду и размахивать мохнатыми щупальцами – плевал я на них. Холод мог украсить потолочные балки гребнями сосулк – меня это не касалось.

Неловко навалившись боком на стол, касаясь щекою теплой лампочки, я глотал страницу за страницей, и море гремело у серых гранитных уступов, и ветер яростно хлопал ставнями на окнах одинокой таверны, и старые часы скрипуче били полночь...

Наверно, так бывает только в детстве: читаешь книгу, но не замечаешь слов, а как бы видишь кино. Я видел совершенно отчетливо стертые ступени гостиничной лестницы, частые переплеты окон, за которыми ночь и опасность, дрожащие свечи в руках испуганной хозяйки и ее сына Джима. Огоньки этих свечей желтыми точками отражались в железных полосках, которыми был окован зеленый дубовый сундук. И наконец, видел я хозяина этого сундука. Старый Билли Бонс будто сел рядом со мной, скрипя кожей ремней и башмаков,

хрипло ворча и откашливаясь. На его полосатой вязаной фуфайке блестели капельки дождя (так же, как блестят на мамином платке капельки растаявшего снега, когда она приходит с работы). От него пахло табаком и промокшим сукном.

Билли Бонс неторопливо сложил и затолкал во внутренний карман медную подзорную трубу, отхлебнул из мятой железной фляжки, сморщил красное обветренное лицо и глянул на меня стариковскими слезящимися глазами.

«Что, парень? Тебе тоже не сладко?»

– Да нет, ничего, – шепотом сказал я.

Он мне понравился, этот старый таинственный капитан. Конечно, он бывал иногда грубоват и вспыльчив, но ведь и жизнь у него была несладкая. По крайней мере, я полюбил его гораздо больше, чем хозяйкиного сына Джима, который сначала был настоящим размазней и трусом. Когда Билли Бонс умер, я чуть не заплакал.

Зато я с большой радостью узнал, что один из его врагов попал под копыта лошадей. Так ему и надо! Ух как гремели подковы по мерзлой дороге! Я не сразу понял, что гремят не подковы, а грохочет дверь под ударами кулаков.

– Кто? – крикнул я, вылетая в сени.

– Дрыхнешь, что ли?! – яростно завопил за дверью Павлик. – Сам бы поторчал здесь на холоде! Я все кулаки расплющил! Открывай, верблюд несчастный!

Я откинул крючок. На обидные выкрики я не обратил внимания. Во мне еще гремели отголоски удивительного мира опасностей и тайн. Скорее, скорее туда, назад, чтобы узнать тайну пиратского сундука!

– Засоня, – презрительно сказал вслед Павлик.

– Балда, – откликнулся я на ходу. – Я не спал. Я зачитался.

– Зачитался! «Ма-ма мы-ла ра-му. Лара мыла Лушу».

Я остановился. Мы стояли в общей кухне, каждый у своей двери.

– Сам ты Луша. У меня такая книжечка. Треснешь, как пузырь, от зависти. Пальчики обсосешь.

– Пф! Про Курочку-рябу.

– Сам ты ряба! Про старого пирата.

– Ты? Про пирата? Ой, умру!

– Начинай, – холодно сказал я. – Когда умрешь, крикнешь, – и взялся за ручку двери. Истина была на моей стороне.

Павлик бросил портфель и шагнул ко мне:

– Ну ладно. Ну, покажи.

С тайным торжеством я протянул книжку.

– Ух ты... – быстро сказал Павлик, и глаза у него стали ласковыми, словно он взял в руки любимого щенка. Он узнал книгу сразу же. Конечно, он видел такую раньше. – «Остров сокровищ», – сказал он почти торжественно. – Роберт Льюис Стивенсон.

Он произнес это имя протяжно и немножко странно: «Робэрт Ль-уис Стывенсон». Было ясно, что в книгах таких и в именах он знает толк.

– Я ее давным-давно прочитать хотел, – заговорил Павлик, жалобно поглядывая на меня. – У Сережки Сазонова просил, а он фигу показал. Я ему автомат с железной трещоткой обещал, а он все равно не дал. Свинья, верно?

Я кивнул, но, чуя опасность, не сводил глаз с книжки.

– Этот автомат я могу хоть сейчас тебе отдать, – бодро пообещал Павлик. – А ты мне книжечку всего на один вечерок. Идет?

Действовать надо было мгновенно. К счастью, книжку держал он не очень крепко. Я кошачьим движением выхватил ее и скользнул за дверь. Звякнул задвижкой.

- Владька! – тоскливо взвыл Павлик.

- Прочитаю, тогда дам, – непреклонно сказал я.

Павлик потрогал дверь, но задвижка была прочная.

- Жила, – безнадежно сказал он. – Буржуй. Купец, помещик, капиталист. И этому типу я отдал свою гранату!

- Возьми ее обратно.

- Ну, Вла-адик. Ну, на вечерок... А?

- Бэ, – сказал я.

- Жадюга. Вот скажу в школе, все ребята тебя лупить будут.

- Тогда и через год книжечку не увидишь!

Он шумно вздохнул за дверью и замолчал. Я понял, что он придумывает самые убедительные, самые-самые действующие слова. Ох как хотелось ему почитать «Остров сокровищ»!

- Много ты прочитал? – вдруг спросил Павлик.

- Тридцать пять страниц.

- Как ты быстро читаешь, – сказал он вкрадчиво. Это была грубая лесть. Ведь он не знал, сколько времени я читал.

Мне стало жаль Павлика.

Даже не то чтобы жаль, а просто я представил, как он безнадежно топчется у двери и чуть не плачет от огорчения. Счастье сверкнуло перед ним ослепительной искрой, поманило и погасло.

Я бы, наверно, на месте Павлика заревел от тоски.

- А ты совсем ее не читал? - спросил я.

- Пятнадцать страничек. Да еще в середине немножко. Сазонов давал почитать на переменах.

- Давай так, - начал я, осторожно взвешивая слова. - Ты сейчас затопишь у себя печку...

- Ага... - откликнулся он с проснувшейся надеждой.

- Потом решишь мне задачку...

- Хоть десять!

- И примеры.

- Хоть тыщу!

- Потом я дам тебе почитать до тридцать пятой...

- У-у...

- А потом вместе будем, вслух! А ты один хотел? Хитрый...

- Ура!

На радостях он грянулся грудью о дверь и сорвал задвижку с винтов.

Отблески на парусах

Эту книжку мы читали пять вечеров подряд.

Мы не торопились. Ждали, когда загустеют в окнах фиолетовые сумерки, и потом отправлялись в комнату к Павлику. Там, у печки, был просторный уютный угол. Наш угол. От комнаты его отгораживали спинка кровати и тумбочка с треснувшим фарфоровым шариком вместо ручки на дверце.

Печка была круглая, покрытая черным блестящим железом – голландка. Казалось иногда, что это и не печка совсем, а основание корабельной мачты, которая уходит вверх сквозь палубу. Где-то высоко над крышей шумят ее паруса. Шум был на самом деле: это хозяйничал в тополе ветер. Когда открывали трубу, он начинал обрадованно голосить в ней.

Павлик отводил в сторону тяжелую двойную дверцу, поджигал газетный фитиль и толкал его под сосновые поленья, в лучину. Тяга была могучая! Сухие дрова словно взрывались – пламя охватывало их разом и начинало торжествующе реветь в печной утробе.

На окнах в комнате Павлика никогда не закрывались ставни. За стеклами дрожали яркие голубые звезды. Казалось, что дрожат они от гудения огня.

Мы садились на поленья у приоткрытой дверцы. Павлик брал книгу. Он становился спокойным и строгим. Он мне очень нравился в такие минуты – не насмешливый, добрый, настоящий. Глаза Павлика делались темными, и пламя билось в них беспокойными звездочками. И на лбу, на волосах его дрожали медные отблески.

Не помню, как читал он: тихо или громко, с выражением или без. Среди пляшущего огня я видел, как на экране, одноногого Сильвера с крикливым попугаем, двухмачтовую «Испаньолу», опоясанный ружейными дымками форт. Головешки, рассыпаясь, стреляли, как мушкеты. Угли были как освещенные закатом скалы острова. Юнга Джим шел по следам сокровищ и воевал с пиратами. Он оказался не таким уж размазней, каким выглядел вначале.

Но вот вместе с пятым вечером кончилась книжка.

Честное слово, я растерялся. Я знал, что она должна кончиться, но нельзя же так сразу. Что же дальше? Не будет больше парусов, прибоя, дальних берегов?

- Хорошая книжка, - потягиваясь, сказал Павлик. - Побольше бы таких.

- Разве есть еще такие? - очень удивился я.

- Завтра принесу одну. Выпросил кое-как у Сереги. Называется «Морская тайна».

«Морская тайна» тоже была замечательной книжкой, только тонкой. Два вечера мы читали про наших моряков, которые оказались в плену на подводном японском крейсере.

А потом Павлик принес «Приключения Гулливера».

Книжка начиналась словами, похожими на строчку из песни: «Трехмачтовый бриг «Антилопа» уходил в Южный океан...»

Мне показалось, что ласковый ветер пошевелил волосы и приподнял листы книги - вот какие это были слова.

Но Павлик оборвал чтение.

- Что за чушь? - сказал он серьезно, даже встревоженно.

- Что? - не понял я.

- Не бывает же трехмачтовых бригов...

Для меня эта наука была как темная ночь.

- Почему?

Несколько секунд он смотрел на меня молча, потом, видно, понял, что разговаривать со мной об этом бесполезно. Сердито и негромко сказал:

- Вот потому... Кончается на «у».

- Раз написано, значит, бывают, - заметил я.

Тогда он взорвался:

- »Написано«! Если он трехмачтовый с прямыми парусами, значит, он фрегат, а не бриг!

- А если не с прямыми?

- Не с прямыми бриги не бывают, ясно? Они всегда с прямыми, всегда двухмачтовые! Вот!

- Откуда ты знаешь?

Он уже успокоился и не хотел спорить.

- Мало ли... - сказал он рассеянно. - Откуда хочешь... Словари-то почти в каждой книжке есть...

- Ну ладно. Давай читать, - нетерпеливо потребовал я.

Павлик помолчал немного и вдруг сказал:

- Не буду.

- Ну, Павлик! - взмолился я.

- Не буду, - спокойно и твердо повторил он. - Если с первого слова вранье начинается, дальше, значит, совсем...

Я понял, что он в самом деле читать не станет. Все рушилось. Погибал хороший вечер с горячей печкой и заманчивой книжкой, где на картинках были якоря, корабли и маленькие воинственные человечки из неизвестной страны.

– Все ты знаешь! – бросил я с отчаянной обидой. – Морской профессор! Может, раньше были трехмачтовые бриги! Сейчас нет, а раньше были! Совсем давно! Откуда ты знаешь?

– Раньше? – повторил он.

– Ну да! – уцепился я за спасительную мысль. – Ты все на свете знаешь, что ли?

Нет, все на свете он не знал. Подумал и согласился:

– Может, правда. Раньше. Насчет раньше я только немножко знаю. Про каравеллы.

«Гулливер» был спасен. А когда и этой книжке пришел конец, Павлик раздобыл где-то «Пятнадцатилетнего капитана».

Первая глава называлась «Шхуна-бриг «Пилигрим».

Я не забыл недавнего разговора и потребовал у Павлика объяснения: что это за штука – шхуна-бриг? И это было лишь начало. Я уже не хотел только приключений. Мне нужно было знание. То знание, которое отличает капитана от пассажира.

Я стал придирчив. Что такое «спардек»? Что такое «ванты»? Что такое «фор-стенъ-стаксель»? Павлик ругался, но объяснял что мог. Потом я, как и он, привык копаться в словарях и примечаниях.

Впрочем, это не портило наши вечера. Это было похоже на игру. Да и в самих словах «норд-вест», «бейдевинд», «фор-марсель» звучали отголоски удивительных морских историй. Это были слова из синей и белой песни моря.

Мы поняли тогда: нам нужны не просто книжки про острова и тайны. Нужны такие вечера. Вечера с гудящим огнем и разговорами о маяках и коралловых рифах. И с ломтиками картошки, которые мы жарили на железной полоске у печной дверцы. Звонко стреляли крупички соли, на ломтиках появлялись коричневые пузырьки. Потом эти ломтики похрустывали во рту, как печенье, и были вкуснее всего на свете.

В те дни все складывалось как-то удачно. Ушла тревога за отца: его часть вывели из боев, и она стояла в тихом городке с длинным нерусским названием. Отступил голод – мама получила какие-то дополнительные талоны на муку. Не за горами была и весна, а все знали, что весна принесет победу. Даже в школе мне везло: я получил две четверки по письму. Но запомнились прежде всего не дни, а счастливые вечера, согретые огоньком начинавшейся дружбы.

Правда, вначале их портила Татьяна. Взяла такую моду: придет из техникума, просунет в дверь голову и медовым голосом начинает допрос:

– Владик, а уроки ты сделал? Все? И по письму? А что было задано? А какие отметки в школе? А что сказала Антонина Петровна?

Эти разговоры надоели мне, как похлебка из мороженой капусты. Меня от них тошнило. Я даже пробовал скрипеть зубами, но скрип не получился, только зубам было больно. И однажды лопнуло терпение.

Я сказал, что это свинство. «Да-да! И не простое, а громадное свинство. Нет, я правильно выбираю выражения! Как еще можно выражаться, если тебе каждый вечер портят настроение?.. Ну и жалуйся! Хоть директору школы! Каждый вечер одно и то же!.. Кашалоту в глотку такую заботу!.. Только попробуй! Думаешь, ты одна умеешь ремнем махать?.. Тысяча чертей и один грот-марсель с двумя рифами!.. Кто бы другой говорил об уроках! Не тот, у кого «хвосты» по черчению!.. Да, знаю, что такое «хвосты», еще хуже двоек! Об этих «хвостах» и говорю, да! А ты думала, о других? Можно и о других: еще хвостами называются те, кто за кем-нибудь таскается по пятам! Например, тот курсант из пехотного училища, или Лешка Солодовников, или... Ах, не мое дело? А тебе в мои можно соваться?.. Подумаешь, старше! Зато глупее!.. И не приду, буду ночевать у Павлика. Тебе же от мамы попадет!.. Что-о? Силенки не хватит!.. А вот так и смею! Подумаешь! Большая, а ревет...»

Что и говорить, скандал был не меньше восьми баллов, но я выстоял в этой буре. Я победил.

С тех пор никто не мешал нам. Вечер бежал за вечером. Они пролетали словно в тени больших парусов, на которых танцевали отблески огня. Что это было? Вспышки пушечных залпов? Отсветы пламени вулканов? Блики таинственных береговых костров? Едва сгущались сумерки, как белые паруса уносили нас в

синюю страну бурь и открытий. И мы жили в этой стране, пока с улицы не доносился стук в дверь. Долгожданный стук.

Да, несмотря на радости хорошего вечера, ожидание этого стука все время жило во мне. Оно пробивалось сквозь книжные тревоги, опасности и тайны.

Отпирал дверь обычно Павлик. Он возвращался, и я спрашивал с замиранием:

– Чья мама пришла?

– Твоя, – говорил он со вздохом.

Я срывался и вылетал в кухню.

Не судите строго. Даже настоящие суровые капитаны становились маленькими в те минуты, когда им случалось встречать маму. Можно понять нас, мальчишек, росших без отцов. Мама – это было все. Мамино возвращение с работы – это была радость, о которой думали с утра. Пусть простят меня паруса и пассаты, что в этот счастливый миг я забывал о них. Я прижимался к маминому пальто, усыпанному бисером растаявшего снега, и мама говорила всегда одно и то же:

– Ой, Владька! Ой, ну сумасшедший ты человек! Я же вся ледяная, ты простудишься насмерть.

И я, худой семилетний малек с ноющими от ревматизма суставами, всегда отвечал:

– Я? Простужусь? Я закаленный, как тысяча айсбергов!

Потом мы шли из кухни в нашу крошечную прихожую, и я помогал маме раздеваться, пока Татьяна однообразно ябедничала на меня.

Потом мы садились пить чай с сахарином и звали Павлика, потому что его мама приходила еще позже.

После чая у меня начинали слипаться глаза. Неизвестно, как я оказывался в кровати. Мне снились корабли и скалы, о которые с равномерным грохотом

разбивались бело-синие волны.

Я просыпался от этого грохота.

– Мама, что это?

– Спи, маленький, – говорила она. – Это радио. Салют в Москве. Наши взяли еще один немецкий город...

Каравелла

Карта и каравелла появились у нас почти в одно время. Карта – на сутки раньше.

В тот день я сидел дома, потому что утром старательно изобразил ужасный кашель. Татьяна разразилась длинной речью, обвиняя меня в лени и обмане, но мама вздохнула и разрешила в школу не ходить.

Итак, я лодырничал и пропустил важное событие, которое произошло в школе.

В положенное время вернулся с уроков Павлик. Окруженный морозным облаком, он ввалился в кухню и втащил за собой тонкие жерди, обмотанные грязной бумагой и марлей. Валенки его гремели, как ведра. С них сыпалась ледяная корка. Павлик поочередно дрыгнул ногами, и валенки, стуча, разлетелись по углам.

Я молча хлопал глазами.

Павлик тем временем гордо поднял жерди, потряхнул их, и предо мной с треском развернулась карта полушарий.

Со сдержанным торжеством Павлик сказал:

– Во! Видал?

Я оглушенно молчал. Первое впечатление было такое, словно непонятный великанище глянул на меня в синий бинокль.

Потом почудилось мне в карте что-то знакомое. Конечно, таких больших карт я раньше не видел, но все равно знакомое в ней было. Она была синяя и белая.

Два синих круга на белом поле. Желто-зеленые материки с темными жилками рек лишь чуть-чуть вносили пестроту.

Синий и белый цвета были главными.

Уже потом я заметил, что карта местами протерта насквозь, что белые края украшены желтыми подтеками, что один бок отсырел и бумага отклеилась от марли, а марля оторвалась от реек. Но в ту минуту я стоял перед ней, как перед заморской диковинкой, и ждал чего-то необычного.

История карты была связана у Павлика с первым плаванием и опасностями...

Наша маленькая школа занимала старинный дом, в котором до революции жил какой-то купец. Мы учились на верхнем этаже, а нижний, полуподвальный, всегда пустовал. Осенью и весной его заливало, а зимой там было холодней, чем на улице. Всем был известен давний порядок: весной и осенью – вода, зимой – холод. Но в тот день, когда я «болел», порядок был нарушен: случилось зимнее наводнение. Говорят, лопнула какая-то труба.

Первые два урока школа жила радостным ожиданием: все были уверены, что вода вот-вот замерзнет. Тогда нижние комнаты превратятся в чудесные катки. Можно будет со свистом носиться на скользящих валенках по гулким залам, можно будет играть в «буру», гоня по льду пустые пузырьки из-под чернил.

Однако вода упрямо не застывала. Видимо, назло. Разведгруппы тайными путями проникали в подвал и возвращались с кислыми лицами. К третьему уроку в школе царило уныние. Только самые упорные не поддались печали. И Павлик не поддался.

После третьего урока он двинулся на разведку снова. Дверь в подвал была, конечно, закрыта. К тому же перед ней разгуливали две дежурные девчонки с

карандашами, чтобы записывать нарушителей, и уборщица тетя Феня с метлой. Но у разбитого оконца, которое выходило во двор, никто не дежурил. Павлик пробрался к нему по сугробам. Он просунул голову и плечи в гулкий сырой полумрак. Конечно, сначала он ничего не увидел. Помещение было без окон – что-то вроде широкого коридора, куда выходили двери всех комнат. Павлик сжал в ладони и бросил вниз снежный комок. Он думал, что услышит всплеск незастывшей воды, но комок ударился обо что-то твердое. Лед?

Павлик перевесился через подоконник. Нет, черная вода поблескивала по-прежнему. А под окном приткнулись к стене три доски, сколоченные вместе. Это были остатки мостиков, по которым здесь ходили во время осеннего потопа.

Три сколоченных доски – это плот. Какой нормальный человек откажется от плавания по пустому подвалу, таинственному, как пещера капитана Немо! Павлик был нормальный человек. Он втиснулся в окошко вперед ногами, повис, держась за подоконник, и прыгнул на доски.

От удара и от тяжести край плота ушел на глубину. Вода залила валенки. Авария! Чтобы не было полной катастрофы, Павлик бросился с края на середину. Плот выпрямился и незаметно отошел от стены.

Только тут отважный капитан сообразил, что никакое судно не может плыть само собой, по щучьему велению. Нужен мотор, или парус, или, в крайнем случае, весло. Если нет весла, можно грести и ладонями, но для этого надо наклоняться, тянуться руками до воды. А как дотянешься, если плот качается? Вот-вот угодишь за борт. Ни присесть, ни наклониться.

Оставалось громко зареветь и сдаться тете Фене и дежурным.

Павлик не заревел и не сдался. Он представил, как поведут его на глазах у всей школы к директору Марии Павловне. Ужас! Под конвоем, в мокрых валенках. Под злорадное хихиканье девчонок! Не директора он боялся, а унижения.

Павлик на пиратский манер заскрипел зубами и прищуренно оглянулся, ища выхода. И нашел. В трех метрах от него поднимался над водой большой полуразвалившийся шкаф. Дверца его была украшена медной ручкой, похожей на узорный крюк. Павлик, вздрагивая от холода и злости, стянул с себя свитер и рубашку, снял ремень. Ремень он привязал к рукаву рубашки, а другой рукав

узлом притянул к обшлагу свитера. Потом сделал на ремне петлю.

Он говорил, что накинул этот аркан на ручку шкафа со второго раза. Наверно, хвастался. Но так или иначе накинул. И подтянул бортом к шкафу свое судно. Край плота прижался к этому «причалу», и плот стал устойчивей. Павлик осторожно дотянулся до дверцы, чтобы оторвать рейку. Рейкой можно было грести и отталкиваться. Он рванул. Дверь сорвалась и грохнула поперек плота. По подвалу грянуло барабанное эхо. Павлик присел, ожидая вторжения тети Фени. Но было тихо.

Стуча зубами, он оделся. Потом заглянул в шкаф. Там плавал большой глобус с пробоиной в районе северной Атлантики, а в углу стояли две большие палки, обмотанные грязной марлей. Сначала Павлик не подумал, что это за палки. Просто решил, что они длиннее и удобнее, чем рейка. И взял их.

– За них меня и вытащили, – сказал он. – А то как бы я выбрался? Окошко-то высоко, не уцепишься.

– Кто вытащил?

– Да так... Девчонка одна. Милка Журавлева. Она сзади меня на парте сидит. Я у нее чернила мажаю, когда у меня нет.

Я хихикнул. Имя было коровье: так звали корову Таисии Тимофеевны. А Павлик неожиданно рассердился:

– А чего гогочешь? Кроме нее, никто не знал, что я туда полез! А она знала и прибежала посмотреть, где я. И вытащила. А кто бы еще вытащил? Ты, что ли?

Я гордо и обиженно ответил, что, конечно, вытащил бы, если бы был в школе. А Павлик сказал, что раз меня не было, то и хихикать нечего.

– Слушай лучше...

Только во дворе Павлик понял, какая у него ценная находка. Карта всего мира! Он решил, что школе она не нужна, а нам нужна очень. И сунул ее в снег.

Весь четвертый урок Павлик провел в беспокойстве: не украл ли кто-нибудь карту? Но она оказалась на месте...

Мы прогладили карту горячим утюгом, заклеили дыры, подровняли разлохмаченные края. Потом один конец верхней рейки положили на спинку кровати, а другой – на гвоздь, который Павлик нарочно вколотил в стену. Угол наш у печки оказался совсем отгороженным. Мы захватили в свои владения тумбочку, выкинули из нее всякий хлам и решили хранить в ней книжки.

Карта сделала уголок похожим на каюту. И все океаны, все земли были перед нами.

На следующее утро Павлик не пошел в школу. Не потому, что простудился. С ним-то ничего не случилось. Но чтобы просушить как следует валенки, Павлик затолкал их за печку, а она оказалась слишком горячей, и один валенок обгорел. У него обуглился бок и вывалилась пятка.

Открылась эта беда утром. Я услышал, как тетя Аня за стенкой кричит плачущим голосом:

– Паразит ты безмозглый, нет на тебя никакой гибели! Не мог ты сам сгореть у этой печки! Это что же такое делается на свете!

Затем донеслись удары, похожие на отдаленное уханье барабана. Я узнал после, что тетя Аня в великой досаде лупила дорогого сына обгоревшим валенком между лопаток. И в самом деле, как тут было не расстроиться? Других валенок у Павлика, разумеется, не было. Их надо было покупать или выменивать на толкучке. Чтобы купить – лишние деньги нужны. А чтобы выменять... Ну, на что обменяешь? Чаще всего меняли на хлебные карточки. Но ведь тогда с голоду совсем завоешь.

Однако лупи не лупи, горю не поможешь. К тому же после каждого удара валенок выбрасывал клубы едкой коричневой пыли. Тетя Аня закашлялась, швырнула остатки валенка под кровать и ушла на работу. Дверью грохнула так, что дом заколыхался и долго дзенькал стеклами, а наш старый самовар крякнул и осел на один бок.

Павлик остался дома. Я позавидовал такой его удаче и поплелся один в школу, потому что повторить свой трюк с кашлем не решился. Когда я вернулся, Павлик встретил меня на пороге. Сказал нетерпеливо:

- Пойдем, покажу что-то...

В комнате на черной клеенке стола лежала знакомая мне летняя испанка с кисточкой. Вернее, не лежала, а стояла торчком, пряча под собой что-то загадочное.

Павлик оглянулся на меня и поднял испанку за уголок. Поднял осторожно, словно там сидела удивительная бабочка и он не хотел, чтобы эта бабочка сразу улетела.

Она не улетела. Она оказалась белым корабликом.

Кораблик был нарисован на бумаге, вырезан и держался на маленькой подставке. То есть мне сначала показалось, что он нарисован, а потом я разглядел, что это печатная картинка.

Были у кораблика круглые борта, высокая узорчатая корма, туго надутые паруса разных размеров и форм. Самый маленький парус пристроился под задорно вздернутым бушпритом.

Удивительный был кораблик – весь наполненный ветром.

Павлик ласково сказал:

- Каравелла... Вот она какая.

Так появилась у нас каравелла.

В общем-то не случилось ничего необычного. Просто Павлик начал от скуки рыться в старых журналах и нашел в одной картинку с корабликом. Он безжалостно вырвал лист, наклеил вареной картошкой на кусок картона и очень аккуратно маленькими ножницами вырезал каравеллу. Потом он укрепил ее на подставке из разрезанной пополам картофелины.

А днем он показал каравеллу мне. Вот и все.

Но мы оба понимали, что это не все. Потому что очень хотелось необычного.

– Пойдем, – сказал Павлик.

Мы пролезли за карту, в нашу «каюту». На тумбочке вместо развалившейся электроплитки с чайником стояла старая лампа без абажура. Она ровно и неярко освещала пестрые земли и синие океаны. Без лампы здесь было бы темно: ведь печка не топилась.

Павлик посмотрел на меня с незнакомой какой-то улыбкой – немного смущенной и мягкой.

– Океаны есть, – сказал он. – Моря есть... Да, Владик? Можно плавать где хочешь...

Было тихо. За окнами далеко прогудел паровоз. Скреблась за шкафом старая, всем знакомая мышь. Еле слышно звенел в горячей лампочке волосок. Я молча поставил на ладонь каравеллу и поднес ее к карте. Она оказалась в Охотском море.

– Нехорошее место, – вполголоса сказал Павлик. – Японцы, подводные лодки.

Я кивнул и, качнув ладонью, повел каравеллу к выходу в океан, держась у берегов Камчатки.

Так началось Плавание.

Уставала рука. Ныло плечо, затекала кисть. Ведь плавания продолжались подолгу, и все это время приходилось держать кораблик у карты. В поднятой ладони.

Конечно, можно было сделать иначе. Можно было карту развернуть на полу, а каравеллу двигать по морям, как пешку по доске. Но мы так никогда не поступали. Почему? Трудно объяснить. Нет, мы не боялись открыть нашу

«каюту»: все равно все вечера мы были одни. Боялись другого: если сделаем что-нибудь не так, как вначале, исчезнет радость игры. Эта радость, окрашенная легким отблеском тайны и приключений, требовала многого. Ей нужен был тихий шелест висящей карты, потрескивание огня, покачивание ладони, на которой стоит каравелла. И даже ноющая усталость в руке была нужна. Так уставали руки рулевых после долгих штормовых вахт. Мы боялись что-то изменить. Так боятся легким шумом спугнуть лесную тишину или неточной линией испортить хороший рисунок.

Мы полюбили каравеллу радостно и крепко. Порой я забывал, что она просто плоский бумажный кораблик. Каравелла снилась по ночам – большая и настоящая. Подробно и ярко я видел, как подходит она к скрипучему деревянному пирсу и выпуклый борт ее нависает над грудями пузатых бочек, свернутыми в кольца канатами и причальными тумбами. Высоко поднимается корма, похожая на узорчатый дом с узкими окнами и балкончиками. Пахнут дегтем коричневые доски обшивки. Почему-то пахнут огуречным рассолом желтоватые свернутые паруса. На тугих, как струны, вантах сидят и весело скалят зубы парни в пестрых косынках. И вся каравелла, еще не остывшая от солнечного жара южных морей, дышит теплом, как подошедший вплотную паровоз...

Слова «мыс Горн», «Кейптаун», «Каттегат», «Тасмания» уже не звучали как непонятная музыка. Мы знали, где эти места, чем хороши и чем опасны. Мы прошли на своем судне через два океана вслед за Диком Сэндом, а потом повторили тяжелый путь Лаперуза. О Лаперузе прочитали мы в суровой и печальной книге «Навстречу гибели».

Тень нашей каравеллы скользила по океанам.

Еще в тот вечер, когда я впервые поставил каравеллу на ладонь, Павлик сказал:

– Ты не шурши ею по карте, держи ближе к свету. Пусть на карту падает тень. Там, где ляжет тень от бушприта, – там мы, значит, и плывем.

Я придвинул каравеллу к лампе, нацелив бушприт на мыс Доброй Надежды. Тень нашей каравеллы темной бабочкой легла на Индийский океан...

Там, где ляжет Тень Каравеллы, зашумят над волнами наши паруса и защелкают флаги. Там, где ляжет Тень Каравеллы, мы пройдем сквозь тяжелые удары выстрелов и штормовое завывание ветров.

Там, где ляжет Тень Каравеллы, будут трудные дороги, соль разъест на ладонях кожу, морозы сожгут лицо, солнце обуглит плечи. Тысячи загадок лишат человека покоя и сна. Но не будет там в жизни уныния и ленивой скуки.

Два капитана и Боббин Гапп

Павлик, брат мой и товарищ... Вот ведь как получилось! Семь лет жили рядом, перекликались по вечерам через тонкую стенку, спорили временами, вместе иногда в кино бегали, случалось потом – вместе шагали в школу. Заглядывали в гости, чтобы поболтать – просто так. И не знали до той зимы, как мы нужны друг другу.

А ведь были нужны, черт возьми! И не только в те вечера. Ведь недаром так отчаянно искали друг друга потом, хотя в жизни хватало иных забот.

Я помню, как встретились мы через... даже боюсь сказать, сколько лет. Я приехал к нему в окруженный соснами городок, взлетел по лестнице на третий этаж, отбиваясь чемоданом от возмущенного вахтера, толкнул дверь со знакомой фамилией на табличке...

Конечно, я знал, что не увижу там худого мальчишку с отросшей челкой над озорными глазами, в больших валенках и голубом бумажном свитере с широкой щелью застежки на левом плече. Но все же растерялся на секунду. Я увидел коренастого дядьку с залысинами, с рубцом на щеке. Дядька энергично орал в телефон. Я с удовольствием выслушал конец разговора:

– ...посылал и буду посылать! И не одну, а четыре экспедиции. Нет, четыре! Что?! Пусть катится со своей комиссией ко всем морским ведьмам! Вот так! – Он швырнул трубку на рычаг и поднял на меня глаза. Дядька был незнакомый, а глаза – Пашкины. – Значит, это ты и есть? – спросил он, остывая и делаясь насмешливым (вот язва, все такой же!).

– Свинство не писать столько времени, – сказал я, швыряя в кресло чемодан (кресло охнуло). – Бюрократ. Телефончики тут у него, понимаете ли... И скажи вашему вахтеру там, внизу, чтобы не кидался на меня, как на шпиона...

– Смотри-ка ты, – заметил он, прищурившись, – еще и ругается. Ну-ну... А в общем-то ничего, хорош. Длинные брюки тебе идут. И значок университетский...

– Лысая образина, – сказал я. – А ведь был когда-то похож на человека.

– Книжечки все пишешь? – спросил он. – Знаю, читал как-то. Одну. Ничего. Не Чехов, конечно...

– Он читал! – хмыкнул я. – Можно подумать, что он что-то читает, кроме своих графиков и отчетов. Растерял всю шевелюру над своими синхрофазомолотилками. Кабинетная крыса.

Мы медленно сошлись, меряя друг друга насмешливыми взглядами. Он вдруг облапил меня и тихо сказал:

– Владька... Владька...

– Павлик...

Но это было потом, долгое время спустя. А в ту зиму мы не думали ни о будущих встречах, ни о расставаниях. Мы были счастливы.

Среди огорчений и редких радостей школьной жизни, среди снежных игр и дневных забот Павлик оставался прежним. Как и раньше, убежал куда-то с незнакомыми мне Серегой Сазоновым и Вовкой Брыком. На переменах со своими приятелями гонял во дворе обледенелый дырявый глобус, который у них назывался «мяпа». Строил с Дыркнабом какие-то сани с рулем. Правда, он не насмешничал, как раньше, но почти забывал про меня.

Но я пишу про Каравеллу. И та зима вспоминается сейчас не застывшими чернилами, не тетрадками, сшитыми из газет, не очередями у магазина. Она вспоминается как непрерывная цепь «корабельных» вечеров.

В ожидании такого вечера Павлик становился спокойным и ласковым. Он даже называл меня Владик, а не Владька, хотя Владькой меня звали все, в том числе и мама.

Я приходил к Павлику, когда за окнами плотно синели сумерки. Он меня ждал, не зажигая света. Бесшумно выходил из комнатного сумрака и вполголоса говорил:

- Пришел... Хочешь хлебушка?

Он вынимал из кармана плоский кусочек и ломал пополам...

Несколько лет спустя я услышал или прочитал где-то слова: «... и у огня он разломил с ним свой хлеб». Это были слова о братстве. Я вспомнил тот ломтик хлеба, частичку четырехсотграммового пайка.

Но это случилось потом. А тогда мы жевали кисловатый мякиш, разжигали печку и включали лампу. И доставали из тумбочки Каравеллу.

Мы не спорили об имени корабля. Он был просто Каравеллой. Мы не делили должностей и званий: оба были капитанами. Зато делили пополам не только хлеб, но и подвиги, и славу.

А подвигов было много. Вот их история, история Каравеллы, сложившаяся у огня и карты.

Однажды весной два моряка с миноносца «Летучий» попали в плен к фашистам. Эсэсовцы заковали их в цепи и отправили на гранитный остров у западных берегов Балтики. Ночью пленников держали в холодных фанерных бараках, а на рассвете угоняли на другой конец острова, где был тайный подземный завод. На заводе выпускались торпеды.

Конечно, два храбрых моряка не собирались работать на фашистов. Темной ночью они распилили цепи, стукнули часовых тяжелыми табуретками и отобрали у них автоматы. Потом беглецы бросились на аэродром, где стоял двухместный самолет начальника лагеря. Перестреляв охрану, они запустили моторы и

взмыли над гранитными зубцами острова.

Моряками были, разумеется, Павлик и я.

Мы вырвались на волю! Сначала сбросили на завод бомбы, которые нашлись в самолете, а потом взяли курс на восток. Завод рвануло так, что самолет отбросило километров на сто! От удара мы потеряли сознание.

И я и Павлик были, конечно, хорошими моряками, но хорошими летчиками мы не были. Да и самолет был дурацкий – не наш, а немецкий. Мы заблудились среди туманов и туч. А потом ударил штормовой ветер, и нас понесло неизвестно куда. Горючее давно кончилось, но ветер был такой, что носил самолет, как бумажную голубку. А когда шторм кончился, мы увидели под крыльями волны океана.

Павлик посадил самолет. Машина была легкая и качалась на волнах, словно лодка. Из парашюта мы соорудили отличный парус, и пассаты несли нас по океану, пока не встал из воды заросший пальмами остров.

Там нас захватили в плен туземцы. Привязанные к пальмам, целый день мы жарились на солнце, а племя решало нашу судьбу. Наконец судьба была решена, и коричневые воины деловито зачиркали брусками по наконечникам стрел и копий.

– Скверное дело, – заметил Павлик. – Надо как-то сматывать удочки, а то продырявят в десяти местах.

Старый лохматый вождь Табу-Ретус, закутанный в плащ из нашего парашютного шелка, настороженно прислушивался к Пашкиным словам. Потом озабоченно заговорил по-английски (мы его, конечно, поняли):

– О чужеземцы! Речь ваша мелодична и совсем не похожа на карканье тех, кто прилетал сюда раньше на железных птицах с черными крестами. Кто же вы?

Мы горячо заверили почтенного вождя, что не имеем ничего общего с теми, кто прилетал сюда раньше, а «железную птицу» похитили у своих врагов.

В тот же вечер был большой праздник, и под бой барабанов племя смелых охотников за акулами приняло нас в почетные вожди. А старый Табу-Ретус, прослезившись от волнения, сказал:

- Мы были бы счастливы, если бы вы навсегда остались с нами. Но вы – отважные воины. Вас зовет дорога битв и подвигов. Мы не задерживаем вас. Много тысяч лун назад здесь впервые появились белые люди. Они приплыли и погибли, потому что пришли как враги. Остался их корабль. Он стоит в тихой лагуне. Он стар, но крепок. Вы пришли как друзья, и этот корабль – ваш. Да хранят вас демоны моря...

И мы увидели Каравеллу.

Удивительно, как она сохранилась. Даже краска на деревянных узорах кормы облезла лишь местами. На гладком полу кают лежали солнечные рисунки узких решетчатых окон. Под бушпритом, на блинда-рее, зеленой бахромой повисли пышные лианы. Казалось, что у Каравеллы выросли усы. Мы взялись за ручки штурвального колеса. Оно со скрежетом повернулось, шевеля заснувший руль: в порядке. Паруса истлели, но у нас хватало материи от парашютов. Днище было обито медью, и морские черви его не тронули.

На палубе мы увидели восемь позеленевших пушчонок и подарили их Табу-Ретусу. Нам требовалось иное оружие.

Мы вооружили Каравеллу малокалиберной пушкой с самолета, а потом, когда потопили пару немецких торпедных катеров, поставили еще несколько пушек и пулеметов.

И началась такая жизнь, что захватывало дух.

Мы жили в морях удивительных, как сон. В них бродили пиратские бриги, всплывали под звездное небо невиданные чудовища, у островов сквозь солнечную воду видны были затонувшие корабли. На них скрывались тайны и клады. А по горизонту, зловеще дымя, тянулись немецкие эскадры, еще не зная, какие беды им несет старинный корабль с блестящими парусами.

Для начала мы разгромили у берегов Тасмании парусную флотилию кровожадного Джимми Косопуза, а потом в северных фиордах утопили один за

другим двенадцать фашистских катеров-торпедоносцев и сожгли их базу. После этого ушли в реку Амазонку, чтобы поохотиться на крокодилов. Это была не просто забава. Из крокодильих шкур мы хотели сшить водолазные костюмы, чтобы в них пробираться на вражеские корабли.

В устье Амазонки нас заперла немецкая подводная лодка «Летучая пиявка».

Командир «Пиявки» фюрер-капитан Боббин Гапп, размахивая белым флагом, явился на борт Каравеллы. Он был худой и длинный, как грот-мачта, с лошадиной головой и блестящими стальными зубами. На его высокой фуражке сверкал череп со скрещенными якорями. Приятно улыбаясь, Боббин Гапп заявил:

– Я буду иметь предложить вам сдаваться. Ваша борьба есть без пользы. Если вы сдадитесь, мы вас отпустить домой. Если нет, мы вас бросим к акула.

– Мы будем иметь дать вам по шее, – учтиво ответил Павлик, – если вы сейчас же не уберетесь на ваш ржавый бочонок. А потом мы будем иметь пустить вас на дно. Только жаль акул, которые отравятся вашим протухшим мясом.

Боббин Гапп отправился восвояси и вызвал по радио на помощь два миноносца и пиратский клипер «Три кашалота».

Конечно, мы обманули врага и ночью ускользнули в океан. Однако на следующий день «Пиявка» и ее друзья стали догонять нас. Отстреливаясь, мы растянули на реях и штагах всю материю, до последней салфетки.

К счастью, дул хороший ветер с веста. Клипер мы подожгли, а миноносцы и субмарина отстали.

Это был горячий денек и счастливый вечер. Ох, какая это радость, когда выигран бой, остывают стволы, ветер поет в такелаже, а впереди свободное море!

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/krapivin_vladislav/ten-karavelly

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)